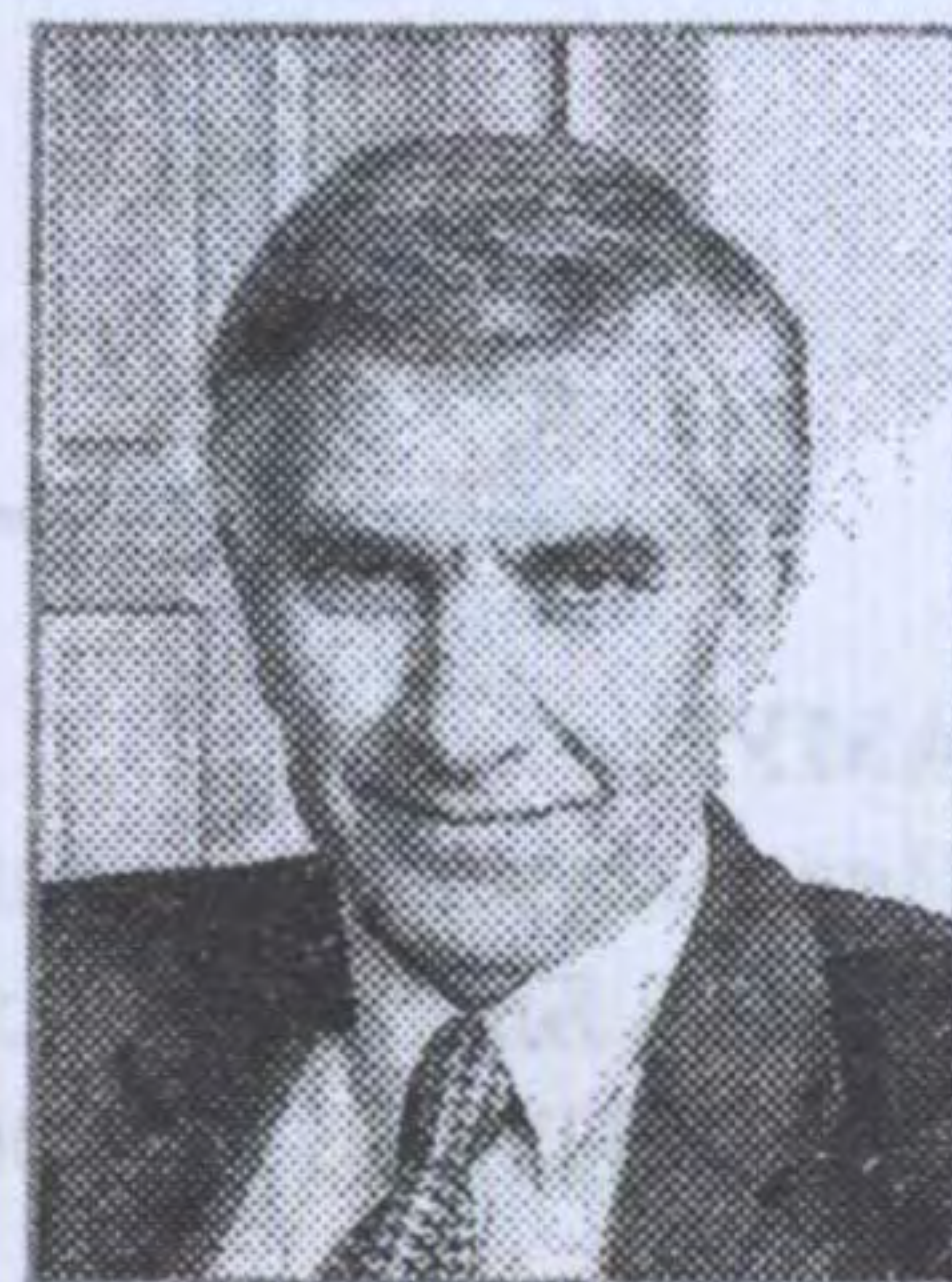


Николай ЛЕВЧЕНКО

член Союза писателей России,

лауреат литературной премии им. Л. Завальнюка (2018)



ЗАГАДКИ ЗРЕНИЯ

Рассказ-эссе

Каждый из нас — владелиц многих удивительных свойств. Зрение — величайшее из них, это говорю вам я, старый офтальмолог. Вам это едва ли кажется удивительным, но попробовали бы вы сначала ослепнуть, а потом вновь обрести способность видеть глаза любимых близких, знакомый мир домашних вещей, цветы и страницы книг. Долгие годы я видел эти чудеса восстановления зрения и чудесного воскрешения человеческих душ из царства сумерек или вечной ночи. В этом мраке мозг, лишённый своего главного источника представлений об окружающем мире, отчаянно блуждал наощупь. Иногда блуждал до самой смерти, так и не дождавшись волшебных медицинских открытий и хорошего доктора, но иногда дожидался этого стечения обстоятельств и счастливо прозревал. Я видел эти исцеления много раз и, как мог, помогал этому всю свою долгую врачебную жизнь.

Но сначала о физиологии. Глаз, точнее его сетчатка, — это часть мозга. На ранних стадиях эмбрионального развития, в крошечной тьме внутриутробной, мозг готовится к встрече с миром света, для этого из него вырастают два зачатка, названные каким-то любителем жизни глазными бокалами. Получившийся в итоге орган зрения мало отличает человека от какого-то зверья, отличие в другом: над глазом в течение последних сотен тысяч лет эволюция воздвигла чисто человеческие приобретения — лобные доли. Это центры интеллекта, это они обдумывают увиденное и делают какие-то осмысленные выводы. Впрочем, последнее свойство присутствует у разных представителей хомо сапиенс в совершенно различных качествах и количествах.

Вы и без меня знаете, что людские взгляды бывают совершенно разного мыслительного наполнения, хотя взгляды детские, почти все без исключения, не кажутся глухими или чем-то неприятными.

Это потом в них, совершенно по-разному, начинает светиться то ложь, то злоба, то равнодушная лень, и мало кому удаётся сохранить изначальное доброжелательное любопытство собственного детского взгляда. Это уже разные житейские обстоятельства рождают привычные ручейки мыслей и промывают в мозговых извилинах свои большие и малые русла, то прямые, то извилистые. Рисунок этот легко читается в каждом взгляде. Да вы и без меня с детства знаете, что глаза — это зеркало души,

моя задача была кратко объяснить анатомию и физиологию, да, может, добавить ещё, что и душа — зеркало глаз.

Видно, благодарностью за все мои врачебные труды возникло и у меня самого зрение несколько иное, каждый раз будто открывавшееся заново, со способностью различать мир со всё более новым и благодарным удивлением. Какое это зрение, рассказывать получится и путано, и долго, может, проще показать, так что готовьтесь к некоему бесхитроستному и потому бесплатному мастер-классу.

Вот сейчас я предаюсь созерцанию сентябрьского вечера на берегу дальнего восточного моря. Для оправдания этого длительного созерцания нам будет служить раскрытый этюдник и невинно-белый холстик на нём. Пусть он подождёт, пока мы, несколько прищурившись, попытаемся уловить общий цветовой тон происходящего. Прищуриваться нужно для того, чтобы многочисленные экзотические обстоятельства и детали вечернего причала не дробили нашего зрения. Пусть вуаль наших ресниц рассеивает случайные черты, до тех пор пока интуиция нашего мозга не прошепчет нам своими лобными долями о необходимости затонировать холстик тонким-тонким слоем золотистой охры. Но не спешите широко открывать веки, человек с выпученными глазами часто делает ошибки. Нет, найдём не спеша то правильное отношение общего тона неба с тоном дальнего края причала, кустами на взгорке и стеной домика меж этих кустов. Оказывается, чтобы выглядеть отдалёнными, эти детали пейзажа должны быть погружены в золотистую дымку, растворяющую детали. Сообразительный интеллект лобных долей, где этот интеллект гнездится, услужливо объясняет, что это во влажном воздухе залива растворён желтовато-оранжевый тон отсвета неба. Среди дня эта дымка будет синеватой — ведь и небо по-дневному голубое. Но пусть мозг переваривает увиденное и пытается запомнить, наше с вами дело — непредвзято и бесшабашно видеть. И вот мы пишем небо, где ближе к зениту ещё просвечивает голубизна кобальта синего, но чем ниже к горизонту, тем больше в него подмешивается золотистая охра и даёт зеленоватый тон, потом он теплеет, и совсем над морем, на горизонте, видно присутствие холодноватого кармина. Главное — мы пишем лёг-

кими, едва заметными мазками, лёгкими и беззаботными, как поцелуй ребёнка. Вечернее небо — самое лёгкое, что может быть над нами, будь оно тяжёлым — оно бы давно обрушилось. Но это продолжают центры наших скромных интеллектов, коварно замышляя уже и стишки на эту тему, различая в ней нечто самопально-философское.

Одновременно с небом, почти теми же цветами и тоном, пишем воду залива и нашей гавани, только в самой ближней воде, на плавных скатах пологих невысоких волн, всё больше отражений судёнышек и тёмных береговых обстоятельств. Не мелочимся и пишем эти яхточки на переднем плане. Они сияют белизной, это утверждает наш малоискушённый мозг, но зрению иногда стоит доверяться только самому себе. Так вот, доверившись, мы озарённо обнаруживаем, что ничего абсолютно белого в них нет. Борты в тених слегка голубоваты, но в мягких отражениях (их художники называют рефлексам) от волн. Эти волны постоянно в движении, и поэтому холодноватая белизна бортов едва заметно разноцветно мерцает.

На белизне палуб — тёплое отражение вечернего неба, и те небесные смеси на палитре, что у нас от неба остались, ложатся именно сюда. Теперь становится понятно, почему обитатели яхт оставляют неокрашенными элементы рубок и часто — мачты. Покрытая бесцветным лаком древесина таким праздничным оранжевым кадрием отражает закатное солнце, что зрение ликует.

Между тем, лобные доли, пошептавшись, начинают подсовывать сравнения этих невесомых пёрышек яхт с такими же невесомыми скрипками. Древесина рубок и мачт, покрытая слоями несколько потемневшего лака, шепчет о том же. Действительно, эти мачты в струнах вант напоминают смычки, вознесённые над тельцами скрипок-яхт. Как только блеснёт эта мыслишка, так сразу вострепнут височные доли наших мозгов, эти более древние, потому более бессознательные и необъяснимые места центров слуха. Если под сводом черепа начнётся какой-нибудь скрипичный концерт Вивальди или Моцарта, нашему зрению сие уже не покажется удивительным. И вообще, не показалось ли вам, что оно, это зрение, умнее, чем вы думали раньше?

Так вот, этюдик, кажется, дописан, и пора объяснить обстоятельства моего и вашего появления на этих благословенных берегах. Я здесь в гостях у моего старинного однокурсника Дмитрия, давно осевшего в этих местах. Он, росший в детстве в местах вольных и таёжных, выбрал эту глухомань из-за ещё более вольной уссурийской тайги, да ещё на берегу моря. Правда, природа всегда стремится к равновесию, и всё это приволье уравнивалось работой, на мой взгляд, адской. А трудился он экспертом в судебной медицине, театре самых разнообразных человеческих трагедий.

Что ж, увлекла студенческую голову вся эта следственная романтика, как мою — офтальмология. Впрочем, в моей ситуации всё получилось как-то случайно. Офтальмологическая профессор, среди студентов именуемая как Глазница, заметила мои рисунки и предложила применить способности к мелкой моторике в микрохирургии глаза, за что я этой своей наставнице благодарен, как и мои пациенты.

Глазные отделения в больничных государствах — это как в нашей необъятной стране то ли Сочи, то ли Ялта, по сравнению с хирургическим Новокузнецком. Во всяком случае, у нас никто не умирает, а вот у друга моего ситуация обратная — у него не выживает никто.

С возрастом обстановка эта, видно, стала ему надоедать, на что он не жаловался, но со стороны угадывалось по тому, что зимой он предавался охотничьим скитаниям, а летом — этому вот причалу, где доводил до ума разные судёнышки, потом продавал и покупал новый повод повозиться на палубе и под ней.

На этом противоречивом фоне моя собственная жизнь казалась мне слишком стерильной, однообразно-благополучной и лишённой настоящего спектра эмоций. После жалоб на это друг мой как-то многозначительно хмыкнул и пообещал назавтра нечто вроде противоядия.

Так я оказался в его морге, перед рядами разложенных костей.

История их появления здесь была простой и едва ли уникальной. Один из обитателей этого приморского городка решил украсить свою жизнь строительством загородного дома. Купив землицы на окраине, начал он рыть котлован под фундамент своей мечты. В самом начале работ из ковша экскаватора посыпались вот эти самые останки, в содержимом следующего ковша их оказалось ещё больше. Попытки копать в другом месте увенчались тем же. Похоже, это неизвестное захоронение продолжалось и за пределами земельной собственности, возможно, и там, где возвышались соседские особнячки, все их беседки, веранды и роскошь невинных цветов. Землица была спешно продана кому-то, кого кости братской могилы смутили не настолько, чтобы испортить прекрасный вид на морской залив.

Вот теперь эти ископаемые останки грудой покоились здесь, дожидаясь экспертизы. Отдельным рядком, в количестве более двадцати, стояли черепа, примечательные своими одинаково молодыми неисторченными зубами да штампованно-аккуратными кружочками входных пулевых отверстий в затылочных костях. Выходные отверстия разворочённо зияли в области лобных костей и глазных орбит, от которых, собственно, ничего и не осталось. Это была классическая иллюстрация из судебно-медицинского учебника, иллюстрация того, что эти ничтожные пулевые граммы после первого соприкосновения с живой плотью начинают кувиркаться, всё больше эту плоть разрушая. Только на одном черепе входное отверстие было в виске, будто владелец его хотел оглянуться на стрелявшего или просто как-то среагировал на дыхание скорой смерти.

Отдельной кучкой лежали остатки истлевших сапог, в оголовке одного сапога белела кучка мелких косточек ступни.

Никаких вражеских нашествий на эти малолюдные места никогда не бывало, так что принадлежать кости могли только местным, из которых исторические обстоятельства выбрали самых молодых и здоровых мужиков, в которых стреляли такие же свои.

После полудня того же дня мне предстояло отчалить на катере от берегов этих мест, а к вечеру и вовсе возвращаться домой на поезде со всеми своими холста-

ми, этюдниками и монотонными размышлениями под монотонный стук колёс.

Никаких новых фактов сообщить я вам не могу, поскольку и сам не знаю и не узнаю, видно, никогда. Да и по традициям наших мест не принято скрупулёзно копаться в датировках, генетических анализах. Принято иметь в головах прекрасные и простые легенды о собственном прошлом, приукрашенном, как положено быть легенде. Правда, лобные доли мозга, пока ещё, слава Богу, не вышибленные пулей, телевизором или нарушениями мозгового кровообращения, эти проклятые центры размышлений, кстати и некстати, воскрешали виды этих русских молодых черепов. Они, лишённые настоящей и исчерпывающей истории, молча вопрошали хотя бы о легенде своего происхождения и земной кончины.

Может, их владельцами были остатки белых, бывших студентов, гимназистов, молодых офицеров, повидавших ужасы Первой мировой и ещё большие ужасы Гражданской. Они могли быть революционерами, ликующими от свержения самодержавия и созыва Учредительного собрания. Они могли быть современниками Мандельштама и Цветаевой, и могли остаться ими, успей на пароход в Австралию или Америку, или хотя бы в Харбин, сохраняя свои русские уж не корни, так гены. Но здесь, на российских просторах, свои гены оставили другие, те, которые стреляли.

Могло быть и наоборот: эти бывшие утончённые ценители Надсона и Мережковского, которых трёхлетие гражданского кровопролития выбросило из человеческой эволюции в первобытную ненависть, палили в затылок своим красноармейским сверстникам, могло быть и так. В здешних краях история не любит точных сведений, оставляя место для бесконечных размышлений на темы «Кто виноват» и «Что делать», чтобы в итоге литература сочинила свою очередную не столько правдивую, сколько красивую легенду. Например, о том, что та Гражданская была войной хороших красных с плохими белыми. Нет, даже чуть более пристальный и вдумчивый взгляд на историю тех времён различит количество цветов гораздо большее. И от этого многоцветья начнёт казаться, что по-настоящему это была война всех против всех и потому лишённая всякой логики и смысла.

Эта братская могила могла относиться и к более поздним временам победившей власти народа, когда за неимением врагов этот народ, уже по привычке, расстреливал сам себя и всё не мог остановиться до тех пор, пока эту работу не взяли на себя заражённые этим же вирусом ненависти иноземные пришельцы.

Так и лежат по всей нашей земле, на окраинах городов и посёлков, забытые, неизвестные останки, и на костях строятся новые дома и пытаются ликовать новая жизнь. Да не очень получается ликовать, и роковые поломки хромосом вновь и вновь вылезают по любому поводу семейными распрями и тлеющими конфликтами даже между друзьями.

Если в своих родословных вы не найдёте ни убитых, ни убийц, то среди их потомков могли оказаться ваши школьные учителя и вузовские преподаватели, особенно среди историков и, не дай Бог, историков советс-

кой эпохи. Тут уж легенды, заменяющие историю настоящую, плодились необыкновенно. Чтобы сомнения вражески не закрались в юные головы, требовалось не только знание учебника, но и демонстрация некоего слепого чувства веры в истинность этих единственно правильных знаний. Это именовалось убеждённостью и всегда поощрялось на занятиях и экзаменах. И в убеждённости той тлела всегда готовая вспыхнуть ненависть ко всякому иному мнению. Может, и утасла бы она, если бы появились в окрестностях каждого большого и малого городка хоть скромные памятники, как им и положено быть на людских могилах. И, натываясь на них взглядом, люди бы каждый раз размышляли о том, как убийственна бывает слепая ненависть, погубившая в крови междоусобиц едва ли не больше русских душ, чем все нашествия иноземцев.

Во всяком русском мужском застолье масштаб и актуальность обсуждаемых тем оказываются пропорциональны количеству выпитого. Это количество быстро одолевало уровень ничтожных проблем семейных бюджетов и достигало стратосферы проблем государственных и мировых. На этом уровне обычно начинались разногласия. Проистекали они из рода наших служебных занятий.

Друг мой в чине доцента, имея профессию, связанную с русским языком и литературой, просто обязан быть консерватором, государственным и славянофилом. Сам он скромно называл весь этот букет собственных качеств кратко и скромно – патриотизм. Видя наглое вползание англоязычных слов в русский речевой обиход, он видел и в носителях всякого заморского языка коварных агрессоров. Язык в этой скрытой войне был лишь шпионом или диверсантом, готовившим плацдарм для наступления основных сил в виде привычек, правил и норм чужой враждебной жизни.

Мне мои занятия оставляли другую нишу. Возвращённый на медицинской латыни, пользующийся западными лекарствами и оборудованием, я обязан быть западником. Во всяком случае, я не видел в европейцах и американцах врагов рода человеческого, тем более что наши глаза, мозги, а также их болезни не имели ни малейшей национальной специфики. Одним словом, не заслуживал я ничего иного, кроме презрительного в наших краях названия – либерал.

Впрочем, это частности. И за этими частностями мне виделась проблема гораздо больших размеров. И тут я опять назойливо про свои любимые глаза, что есть часть мозга, и про мышление, которое строит свои картины из красок увиденного. Так вот, этот друг мой считал, что главное свойство родной литературы – это не превзойдённая литературами иными способность создавать мифы об истории и жизни вообще. Прекрасные мифы эти выше жизни и представляют из себя ту историю, тот «нас возвышающий обман», который единственно достоин оставаться в памяти потомков, пусть и противореча реальным фактам, доступным в архивах нашему глазу. И лермонтовское «Бородино», и толстовские «Война и мир» более реальны для нас, чем настоящие исторические события тех ушедших времён. И в жизни, скажем, Чехова главными оказываются не детали биографии, а пьесы и рассказы, из них проистекающие.

Так-то оно так, соглашался я, да только всё должно иметь меру. Разум без зрения, как известно, спит и способен лишь на сновидения. Более того, «сон разума рождает чудовищ».

Впрочем, спор этот и бесконечен, и лишён смысла по той простой причине, что никто никого не способен убедить в своей исключительной правоте, ибо по своему правы обе стороны. Ну не виновен я в том, что обучен был делать простые реальные дела, полезные человеческому здоровому зрению, и уж коль так воспитан, видел в этом и цель, и смысл собственной скромной жизни. Мифотворчеством живописи я лишь баловался для некоего душевного равновесия, чтобы не казаться себе излишне сухим и рациональным. Кроме того, это оказывалось простодушно-приятным и, по этой причине, имело право на скромное местечко в моей собственной скромной жизни.

Более того, я часто завидовал своему другу, его познаниям в области философии, литературы или истории. Молодость моя, как и вся последующая жизнь, занята была поглощением книг узкоспециальных, а для другого времени не много и оставалось. Да и желаний, честно говоря, тоже. Даже в годы романтической юности предпочитал я книжки из серии «Жизнь замечательных людей», откуда черпал образцы достойно прожитой жизни, когда успевали сделать побольше разных великих дел. Вот так я стал прагматиком и рационалистом.

Озирая с этих позиций окружающую жизнь, озирая с высот собственного возраста достаточно давно, я начинал видеть, что в родной моей державе всегда недовставало условий для практической деятельности, для практического благоустройства жизни. Было это плохо и для медицины, но и для других, менее видных мне областей, наверное, тоже. Не из этой ли скудости реальной жизни и не для того ли, чтобы скудость эту уравновесить, возникали удивительные шедевры российской культуры, восхищавшие весь мир? И до таких глубинных раскопок человеческой души мало какая другая мировая литература доходила. Этому способствовали и бесконечные российские дороги, где ничего не остаётся, как размышлять или сочинять долгие песни, а за это время европеец раз — и построил что-то или хотя бы дворик свой подмёл. А бесконечная русская зима, где снега напоминают белые, не исписанные листы бумаги и просят то ли романа, то ли сказки, а для реальных трудов на земле только короткое лето.

Но у всякого лекарства существуют побочные действия, и, ещё чаще, при передозировках почти любое снадобье оказывается ядом. «Отравиться можно всем, даже настойкой из старых газет, всё дело в количестве», — говаривала одна наша старенькая профессор-фармаколог. Так вот вековая привычка у народа моего, привычка жить среди мифов и ощущать их вроде настоящей реальности, властями использовалась и используется до сих пор.

Например, миллионы моих соотечественников, гордых жителей страны Советов, удивительным образом не замечали, что эти Советы никакой реальной роли не играли. Ещё при жизни моей все от мала до велика распевали песню, имевшую мелодию торжественного гимна: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Распевали, и будто слепы были, и не виде-

ли, что у половины страны и паспортов нет, и как крепостные, привязаны они к своему колхозу или к месту ссылки. А те, кто не сослан, каждую ночь ждали стука в дверь, за которым ссылка была ещё лучшей участью. И что, все слепы были? Да нет, едва ли, просто зрение это было несколько иным, а именно зрением сквозь цветное стёклышко некой общей прекрасной идеи, сказки, и зрением поверх людских голов и лиц, зрением куда-то за горизонт действительности, где манило миражом сказочно прекрасное светлое будущее. Настолько прекрасное, что на пути к нему казались ничего не значащей мелочью и жизнь окружающих, и собственная жизнь, а, может, и реальная жизнь вообще.

Оно бы и Бог с ними, этими застольными мужичками диспутами, но, живя в эпоху надвигающихся перемен и реформ, каждый ощущал наэлектризованность и поляризацию общественной атмосферы, и поэтому градус наших дискуссий возрастал от застолья к застолью по какой-то восходящей кривой.

Любые повороты в истории нашей большой страны носят разрушительный характер, и поэтому их насколько можно стараются не делать или, сколько можно, оттягивают их начало. Это на пяточке любой европейской страны раз — и повернулся, а когда одной ногою держав в Азии, а другою — в Европе, то она долго переминается с ноги на ногу, не ведая, с чего начать. А в это время население предаётся спорам, в том числе и застольным, слава Богу, пока не кровавым.

И вот однажды, когда уже градус нашей дискуссии начал кипеть ненормативной лексикой, увидел я во взоре друга моего нечто новое и устрашающее. Что — объяснить трудновато, да только видел я такие взгляды всего только несколько раз. А чаще такое выражение глаз в самые решительные моменты кинематографического сюжета возникали у какого-нибудь экранного комиссара, призывавшего убивать врага. И во взгляде этом светилась такая единственная и неодолимая правда, ради которой и убивать оказывалось делом почти святым.

— Э-э-э... так над нашим застольем витает призрак гражданской войны, — несколько в шутку сказал я.

— Да хоть и гражданской! — ответил мой старинный друг со взглядом окончательной и бесповоротной справедливости, исключаяющей любые шуточки.

Может, и с вами случаются или могут случиться такие суровые диспуты. Не ввязывайтесь в них, а если ввязались — не погружайтесь слишком глубоко. Споры эти лишены смысла, дискуссии уместны среди математиков, медиков или финансистов, где доказательства имеют точные измерения. В вопросах человеческой жизни сопоставляются разные точки зрения, бесконечные варианты мифов, сложившиеся в головах, а какая вера лучше — о том спорить бесполезно. Лучше благодарно вспомните о совершенстве наших глаз и мозгов, таящих каждый свой взгляд на мир и сочиняющих каждый свою легенду об этом мире. Мире нашей единственной, неповторимой и такой короткой жизни. Среди которой убийство, даже мысленное, есть грех, бесспорно, величайший.